

Александр
ЯБЛОНСКИЙ



Ж-2-20-32

Александр Яблонский

Ж-2-20-32

«Водолей»

2013

Яблонский А. П.

Ж-2-20-32 / А. П. Яблонский — «Водолей», 2013

Живущий в США писатель Александр Яблонский — бывший петербуржец, музыкант, педагог, музыковед. Автор книги «Сны» (2008) и романа «Абраша» (2011, лонг-лист премии «НОС»). Новая книга, при бесспорной принадлежности к жанру «non fiction», захватывает читателя, как изощренный детектив. Немногие обладают подобной способностью передачи «шума времени», его «физиологии» и духа. Это своеобразный реквием по 40-м — 80-м гг. XX в., с исключительной достоверностью воспроизводящий эпоху на примере жизни интеллигентной ленинградской семьи с богатыми историческими корнями. Описания дней минувших соседствуют с афористичными оценками событий 2011–2012 гг. и покоряющими своей неистовой убежденностью рассуждениями о проблемах и месте в мировой культуре русской эмиграции, поистине беспримерной по своей креативной мощи. Но основная прелесть книги — флер времени, создание которого требует и мастерства, и особого, исчезающего, редкого ныне строя души.

© Яблонский А. П., 2013

© Водолей, 2013

Содержание

1		5
	Галстук	8
	«Поезд идет на восток»	20
	Белочка	21
	«В городском саду...»	26
	Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Павлович Яблонский Ж-2-20-32

Autobiography is not a reflection but a created product.

Автобиография не отражает реальность, но и сама создает ее.
Поль де Ман

Man P. De Autobiography as Defacement
Modern Language Notes. 1979. Vol. 94, p. 920

Мы жили тогда на планете другой.
Георгий Иванов

1

Моим внукам





Мандолина лежала на буфете. Старинный буфет с резными деревянными, частично отвалившимися украшениями стоял у входной двери в нашу комнату. Я привык к этой мандолине так же, как к самому буфету, изразцовой голландской печке, никогда, на моей памяти, не топившейся, или роялю фирмы «Дидерикс», на котором вечерами играл папа. Что это за мандолина и почему она устроилась на буфете, я не знал да и не интересовался. Лежит и лежит. Мало ли что лежало в комнате. Потом оказалось, что на ней давно, задолго до войны, играла моя мама. Она даже выступала в оркестре мандолинистов. Мама была очень молоденькой, очень хорошенькой и тогда, наверное, не подозревала, что со временем станет моей мамой. Может быть, ей нравился дирижер, а может, он был в нее влюблен: в маму, как я сейчас думаю, рассматривая фотографию тех лет, нельзя было не влюбиться. Возможно, на репетиции она ходила, как на праздник. Интересно, как к этому относился мой папа. И был ли он тогда в ее жизни? Волновалась ли мама перед выступлениями, и где они давали концерты, и как она одевалась, и что играли... Я ничего не узнал и уже не узнаю. Тогда, когда мы жили в одной комнате и были с мамой неразлучны, я не спрашивал, а она об этом не рассказывала. Сейчас же ни у кого не спросишь. И никто никогда не узнает, что моя мама играла на мандолине и выступала в оркестре мандолинистов. Я даже не помню, куда делась эта мандолина. Помню лишь, лежала на буфете.

###

«Девятка» ходила в Озерки. «Четырнадцатый» ходил до Мечниковской больницы и там делал кольцо. А «девятка» делала кольцо на Поклонной горе. Мы прыгивали с трамвая и бежали вниз, к озерам. На Поклонной горе стояла полуразрушенная церковь сараечного вида.

То, что «четырнадцатый» ходил к Мечниковской, это я знаю точно, потому что там родился. Не в трамвае, а в больнице. Тогда она называлась «Эвакогоспиталь 2222». Во дворе Эвакогоспиталя все время что-то копали пленные немцы. Однажды один из них дал мне кусок

сахара или конфету. Было вкусно. Конец войны, трамвай в это время уже начал ходить. Отчетливо вижу, как два красных вагона огибают сосновый островок. Сосны высокие, разлапистые. Земля усыпана сосновыми иголками. Пахнет смолой, теплым песком, вереском.

А «Девятка» ходила в Озерки. Мы садились... нет, мы врывались в нее, отталкивая друг друга и радостно крича; мы штурмовали ее, хотя днем вагоны были полупустые (в то время люди днем без дела не слонялись), и ехали купаться. Трамвай долго плутал по городу, а мы, если ехали в вагоне, смотрели в окно и были счастливы. Само купанье помню плохо, но поездку – хорошо. Впрочем, ездил я мало, так как занимался музыкой и мне надо было идти либо на урок по специальности, либо на сольфеджио, либо на музыкальную литературу. Ещё на тренировки в бассейн, где я плавал стилем баттерфляй. Однако очень хотелось ехать купаться, даже не купаться, а ехать. Со всеми.

Как уже понятно, в вагоне ездили редко. Самым большим шиком считалась поездка на подножке или на «колбасе». Это было замечательно: висеть на подножке, откинувшись на длину вытянутой руки, которой держался за поручень, весенний или летний ветер трепал волосы, душа ликовала. Однако двери вагона не закрывались, и кондукторша с набором разно-великих и разноцветных катушек трамвайных билетов на груди могла сломать восторг, втаскивая нас в вагон. До «колбасы» же ей было не дотянуться. Но я там ни разу не ездил, не удавалось. Да и не рвался в силу природной трусоватости. Один мальчик из нашего класса – фамилию забыл, кличка была Хорь – сорвался и остался без ноги. Он был конопатый и злой. Со временем он освоился с костылем и ловко, быстро передвигался, участвуя даже в драках – дрался он остервенело. Его мама работала в нашей школе уборщицей.

Я же ноги сохранил, но стал музыкантом. Эвтерпа, полагаю, от такого расклада не очень обогатилась.

###

«О, эти черные глаза...» Не знаю, почему этот романс, прославивший Юрия Мерфесси, так трогает. До слез. Возможно, потому, что – из другой жизни: «мы жили тогда на планете другой». Круглая серая тарелка радио в комнате пела, главным образом, «А кто его знает, чего он моргает» голосом хора Пятницкого. Ручка же патефона, которую доверяли крутить, когда были гости на Радищева, – это уже «О, эти черные глаза». Праздники. Репино, где мы снимали дачу: из дома отдыха доносились манящие звуки взрослой жизни, которая уже начинала волновать. Летний театр в Старых Гаграх: танцы, танцевать не решаюсь – не умею, чаще стою за оградой, но весь воздух пропитан ожиданием, запахом эвкалипта и магнолий, отдаленным шумом прибоя и – «Был день весенний, всё, расцветая, ликовало...».

«О, эти черные глаза...»

###

Как жили тогда? Мы – крикливо. Взрослые – шёпотом.

Галстук

Галстук был неотъемлемой частичкой бытия. Когда преподавал, солидность не опознавалась без галстука, затем читал бесконечные лекции – тем более; наконец, стал начальником – это без галстука совсем невозможно. Плюс, правду говоря, галстуки мне нравились. Был когда-то влюблен в один галстук. Он обнимал упитанную шею молодого финна, и я все уговаривал Аллу попросить (по-фински) этот галстук продать. Но она постеснялась (мы же не нищие). Да он и не продал бы. Галстук был длинный, широкий, в крупную яркую косую полоску. Где-то год 72-й – 73-й...

Ко всему прочему, наличие нескольких галстуков и рубашек камуфлировало недостаток, а точнее, отсутствие костюмов и оживляло пейзаж. Так что помимо винно-водочных и книжно-нотных магазинов я заглядывал и в галантерею, где давали галстуки, правда, советские. Затем грянул Горбачев и проклюнулась граница, где на уличных развалах можно было насытиться этими удавками, радуя скучающих продавцов темнокожего вида.

Короче говоря, когда началась эмиграция, я был при галстуках. Они гордо украшали мой гардероб. Однако эмигрировал я не за галстуками. Месяц – другой оформляли документы, рассылали резюме (то есть «историю болезни» и рекомендации), пытались пристроиться к английскому языку (процесс затянулся до сего дня), познавали быт. Потом стали приходиться редкие ответы из колледжей и университетов, где любезно сообщалось, что они крайне нуждаются в моих услугах. Но не сейчас. И не завтра. По мере... Параллельно открыл свой бизнес: Art of Music Agency. Регистрация (за 15 баксов) прошла с громадным домашним успехом, но денег на первых порах не принесла. Скорее, наоборот. Быстро спустились на землю.

Помогли наши старые друзья – Марик и Наташа, – земля им пухом. Нашли «блат». Позвонил некоему Хасану. Он терпеливо и доброжелательно выслушал мою биографию, поинтересовался образовательным уровнем и профессиональным опытом, сказал: «Хороший ты человек. Но не этот профиль. Слишком... Но... раз Наташа просит, помогу, дорогой». Через пару дней я поехал в «Бертуччи». Надел новую рубашку, повязал лучший галстук и поехал. Принял меня Том – главный менеджер. С нескрываемым удивлением прочитал мое резюме, список научных трудов, рекомендации Ю. Темирканова, Н. Перельмана, ректора Петербургской консерватории, директора Longy School of Music, других видных деятелей, фамилии которых он явно узнавал впервые. Затем попросил показать водительские права и сказать номер Social Security (дающего право работы в США). Проверил. «Когда можешь выйти на работу?» – «Завтра!» – «Welcome!»

На другое утро, уже в свежей рубашке и при другом галстуке, я двинулся на свою первую службу в Америке. «Бертуччи» – это всеамериканская сеть популярных пиццерий, где пиццу делают в печах не на газе, как во всех остальных, а на дровах. Эти дрова я впоследствии неоднократно вносил со двора в помещение и аккуратно складывал. Но основная моя работа была связана не с дровами или коробочками, которые я добросовестно собирал в свободное время, а с доставкой заказанных пицц по адресу. Официально платили копейки (около пяти долларов в час), основной заработок – *типы*, то есть «чаевые». Поначалу я стыдливо отводил взор от рук заказчика, но потом пообвык и впивался глазами в ладошки клиента...

Каждый день, идя в должность к «Бертуччи» (со временем появились и другие виды деятельности), я надевал чистую рубашку, менял галстуки. По наступлении холодов гардероб пополнила почти новая кожаная куртка, подаренная Мариком, о которой в России в те времена и мечтать было немислимо. С курткой понятно: другой у меня не было. Галстук же я повязывал не только по причине неразделенной любви к нему и привычки, как было сказано. Моим «старикам», то есть маме, теще и тестю – они все тогда были ещё живы – я не говорил, где служу. Они были счастливы, что я, наконец, нашел себе работу, с волнением интересовались, что это

за место. Я уходил от ответа. Ира помогала: не приставайте к нему, он боится взглянуть, место, мол, больно хорошее... Они смотрели, как я прилаживаю новый галстук под цвет рубашки и многозначительно, радостно переглядывались...

Видит Бог, я не стыдился своей работы. За все на свете надо платить. За возможность жить там, где хочешь, и не участвовать, пусть пассивно, в том, в чем участвовать «невыподым», за эту возможность не грех пожертвовать многим, если не всем, в своей жизни.

Здесь хочу пояснить, что эмиграция только тогда оправданна (хотя и трудна, порой горька), когда уезжаешь не КУДА, а ОТКУДА. Кто покидает страну, считая, что ТАМ – в США, Германии, Франции, Израиле и т. д. – будет хорошо («там рай»), тот обречен на разочарование и крах надежд. Рая нет нигде. И нигде мы – эмигранты – не нужны. Даже материальное благополучие не камуфлирует определенного дискомфорта или скрытого отчаяния. Ностальгия по оставленной «культурной жизни», кругу общения, привычной среде обитания и пр. стимулирует подчас мысли о реэмиграции. Ничего подобного не испытывают те, кто, как я, уезжали, чтобы УЕХАТЬ. Все трудности непрогнозируемой новой жизни, тень порой нищеты, тяжесть физического разрыва (а иногда и духовного) с друзьями, потеря привычного самоощущения – все это компенсируется сознанием выполненного решения, правоты выбора. «Миловал Господь меня! Не пришлось мне жить при советской власти», – с радостной улыбкой говорил старец – из «тихоновцев», – просидевший при большевиках более 40 лет (с маленькими перерывами). (А. Синявский. «Сны на Православную Пасху»). Не сравнимы и личности – этого мощного старца и моя ничтожная персона, – и условия советского концлагеря и благополучной Америки. Но и меня миловал Господь: ни дня не жил при нынешнем... И ещё. Не надо обольщаться, что кто-то из нас нужен Америке (или любой другой стране). Нет, эта условная Америка нужна нам. Понимание этого ставит все на свои места. Когда стало ясно – к 1996 году, куда идет страна и общество (что подтвердилось через четыре года), исчезли остатки сомнений, и я уехал. Не в США, а из России. Не важно, куда, хоть в республику Чад. (Оказалась Америка, что, естественно, предпочтительнее). И никогда, ни при какой погоде не вернулся бы и не вернулся. Даже тогда, когда осваивал профессию деливери и мыл полы, хотя имел несколько чрезвычайно выгодных и престижных предложений работы в России (не теряя новое подданство), причем предложений от власть в то время имевших.

Более того, уже тогда я стал понимать, что судьба улыбнулась мне: я начал своё иное существование с самого низа, постепенно поднимаясь и вращаясь в новые, абсолютно непривычные условия бытия, в чужой мир, делая его своим. Иначе говоря, я съел свой пуд г...на, без этого эмиграция не эмиграция, а «утраченные иллюзии». Но объяснять это «старикам» было невозможно. Они бы и не поняли, не захотели понять. Эмиграция для них и без того была тяжким испытанием, которому они подверглись, уступая моему неукротимому натиску. «И зачем была нужна эта эмиграция» – рефрен вечерних бесед за ужином. Узнай они о моих буднях в «Бергуччи»... Не дай Боже! В Ленинграде, затем Петербурге их сын (зять) то по радио выступит, то по ящику его покажут, то в газете интервью, да ещё и с фотографией. На фотографии он – то есть я – в расстегнутом итальянском кашемировом пальто синего цвета (если пальто застегнуть, оно гадливо перекашивалось и горбатилось, делая его обладателя похожим на несчастного героя Гюго). Это произведение было куплено в открывшемся «коммерческом» магазине на Майорова по подозрительно сходной цене; правда, магазин вскоре закрылся. Генеральный директор «Ленконцерта» («Петербург-концерта») в расстегнутом итальянском пальто, да ещё музыковед, педагог и пр. и пр. – развозит пиццу, складывает дрова, моет столы и окна (это я делал в другом ресторане, куда устроился также по «рекомендации») – всего этого им было бы не пережить... Короче говоря, каждое утро я повязывал очередной галстук и с важным, озабоченным видом отправлялся в «присутствие».

Через два – три месяца, приходя постепенно в себя, осознавая, что все происходящее не есть сон, стал замечать, что мои коллеги – надо сказать, люди замечательные, доброжелатель-

ные и порядочные, я их с благодарностью вспоминаю, – все они имели фирменные красные кепочки с надписью «Бертуччи» и такие же свитера или майки. У меня этого добра не было. Я призадумался и огорчился. Не дали, значит, уволят. Хотя я уже начал работать в Boston College (Boston College – один из наиболее авторитетных католических – иезуитских – университетов мира) и в Boston Ballet'e, и в Solomon Schechter School, и мое агентство проснулось и стало кормить, – терять заработок *деливери* казалось делом неосмотрительным – жизнь в другом мире только начиналась... Среди сотрудников был один русский парень лет двадцати пяти – Андрей. Он развозил пиццу, а его жена Таня работала официанткой (года через полтора после «Бертуччи» они уже процветали на высокооплачиваемых позициях программистов, купили шикарный дом, то есть свой пуд известного продукта съели и начали жить). Вот к Андрею я и обратился, трепеща, с вопросом: «Почему?!» – «Саша, вас уволить?! Господь с вами! Том говорит, что вы – наша гордость. Когда вы явились наниматься на работу, он охренел. Пришел, говорит, джентльмен в галстук, кожаной куртке. Том не хотел вас брать. Больно солидный, говорит. А когда вы стали каждый день в галстук являться, дрова собирать и горячий продукт развозить, он заценил. И форменную робу не дает потому, что клиенты счастливы. Думают, что сам хозяин фирмы или, в крайнем случае, главный менеджер им пиццу со «Спрайтом» привез. Вы – лучшая реклама нашему «Бертуччи» Это впервые в истории «Бертуччи» – деливери в галстук... Одно у Тома опасение, что вам типы не дают или дают мало: клиентам неудобно давать “трешки” такому важному господину». И я понял, что Андрей и Том правы. Осмотревшись ещё внимательнее, обнаружил, что никто из моих коллег, будь то труженики харчевен или профессора университетов, звезды балетного мира или менеджеры, музыканты или их поклонники – никто в мирной, то есть повседневной жизни галстуки не носит. Только продавцы автомобилей, клерки самого низшего уровня и грустные служители похоронных бюро.

В тот же вечер я снял свой галстук, аккуратно поместил среди столь же прекрасных его соплеменников (вот такую коллекцию мне бы лет десять – тридцать назад!) и больше никогда не надевал. (Типы увеличились, хотя и незначительно). Лучшие образцы галстуков раздарил, что-то висит – на всякий, скорее всего, печальный случай.

Говорят, что двадцатый век реально начался не 1 января 1900 года (или 1901), а 28 июля 1914 года после выстрела Гаврилы Принципа. Так и моя эмиграция началась не 26 июня 1996 года, а в тот вечер, когда я повесил в шкаф темно-синий галстук в редкую тонкую белую полоску.

###

Миша Сухарский – прекрасный музыкант и чудный человек, хорошо знакомый ещё по Ленинграду, – как-то уже в Штатах спросил: «Слушай, а Павел Александрович Яблонский не твой ли родственник?» – «Это мой папа». – «Слушай, так он же нам читал. До того, как стать музыкантом, я закончил Техноложку. Павел Александрович читал “Процессы и аппараты химической промышленности”». – «Точно». – Миша засветился радостной улыбкой: «Как мы его любили! Он был наш любимый профессор. – (Папа профессором не был, а был доцентом.) – Всегда был приветлив. С юмором. И читал блистательно. Все было понятно и увлекательно. На его лекциях всегда было полно. (Папа, действительно, имел уникальное дарование самые сложные вещи объяснять ясно и просто.) Но больше всего нас поражало его умение чертить на доске двумя руками одновременно абсолютно ровные окружности. Читает, пишет формулы, опять читает. Потом быстро повернется к доске и моментально двумя руками – две нужные ему окружности. После лекций мы несколько раз циркулем проверяли. Точно!»

###

Навестили Наума Коржавина. Он в Nursing Home. В этом доме престарелых он с женой – Любой. Они оба недееспособны. Он – уже пожизненно. Она перенесла операцию: открыли и зашили. <...> После операции раны у Любы загноились, и ее опять забрали в госпиталь. Он остался один. Абсолютно беспомощный, слепой, потерянный. Люба его поводырь, она ему читает – он без книги жить не может, не привык. Она его кормит, одевает. Она его собеседник и друг, она... Она для него – всё. И он для нее. Постоянно звонит ей в госпиталь, всё надеется, что она «сегодня» вернется. Разговаривает, как юный влюбленный. Трогательно до слез. Она вернется, правда, не сегодня; их отпустят домой...<...>

Сидели, говорили. «Смерть Стасика (Ст. Рассадина. – АЖ) выбила у меня опору в жизни». – Не первую и не последнюю. – «Боря Балтер называл его малолеткой! Младше меня на 10 лет. А ушел раньше...»... «Булат нас познакомил. Я забежал в журнал “Молодая гвардия”, там Окуджава на переводах сидел. Вышли в коридор, там стоит такой губастый, вихрастый. Вся жизнь с ним». И Балтера нет, и Окуджавы нет, вот и Рассадина нет.

Голова ясная, память отличная, характер неукротимый.

Вспомнили общую знакомую – Тамару Питкевич. Ира боялась и не хотела эмигрировать. Поделилась с Тамарой Владиславовной. Питкевич успокоила: «Не бойся, деточка. Там будет хорошо. Там Коржавин». Коржавин услышал это *по-своему* и перебил: «Мне здесь никогда не было хорошо!»

###

Поразительный, но органичный врожденный синтез нашего культурного кода: гипертрофированная жажда (и способность) к подражанию и патологическая уверенность в своей исключительности и оригинальности.

###

Школьный двор – не парадный со стороны «Спартака», – а «черный», то есть тот, куда школа окнами выходит на жилые дома, являлся нашим домом, штаб-квартирой, сборным пунктом, – всем. Я бывал там почти ежедневно, особенно в школьные годы, но помню, почему-то, конец августа. Сумрачный свет, низкое серое небо, синеватый воздух, гулкие звуки, запах сырости и полениц дров. Дрова со временем убрали, но запах остался. В этот двор влетал через проходную парадную со стороны Кировной. Во дворе жили в одном подъезде Коля Путиловский с мамой, в другом – с короткого, перпендикулярного школе торца – Петя Шапорин на втором этаже, а на четвертом – Гарик Барсуков. Колю можно было позвать со двора. Через минуту он вылетал, но чаще из окна выглядывала Беба Александровна – удивительно доброжелательный, эрудированный, интеллигентный человек, ещё петербургского замеса, – всегда сначала здоровалась со всеми, называя каждого по имени, а потом говорила: «Коля на улице». Значит, у «Спартака». Пете кричать было бесполезно, окна его комнаты выходили на Петра Лаврова. Легче было взлететь на второй этаж. Иногда открывала Катя – единственная соседка, но чаще ее дома не было, так что можно было развернуться и начать фиесту, не выходя на улицу. До Гарика рукой подать, так что все было путем. Позже у ребят появились телефоны, и я предварительно звонил из автомата, который размещался в парадном подъезде дома Мурузи со стороны Литейного. Соединившись с друзьями из школьного двора, шли к Гульке. Сначала

просто так, позже – через магазин. Больше никогда такого радостного и беззаботного времени не было.

Где-то в конце 70-х, изредка бывая в этом районе, иногда встречал Бебу Александровну. Она, практически уже ослепшая, обычно медленно брела по Кирочной в булочную или к своей сестре. Первым побуждением бывало пройти мимо, так как делалось стыдно, что я ещё жив, что бегу куда-то. Однако... Подходил, она узнавала не сразу. «А-а, Саша, это ты?» Чувствовалось, что рада. «Как поживаешь?» – Что ответить?! Потом, оживляясь, говорила о Коле так, как будто он живой, «на улицу вышел». Она ещё долго жила после Коли, пыталась общаться с его сыном Сережей – своим обожаемым внуком, смыслом её жизни, жизни никому не нужной – ни ей, ни другим. Получалось ли, не знаю. Многого не знаю.

###

С Севкой глупо получилось. Застрял у метро в поисках приличных цветов. Приличных не нашел, но опоздал. Когда, наконец, подъехал к военному госпиталю, который около Суворовского, медленно отъезжал какой-то автобус. Не догадался помахать рукой, остановить. Морг был уже закрыт, так что, оказалось, автобус был с Севкой. Так его и похоронили без меня. Тоже – конец 70-х. До сих пор не могу себе простить.

«Севкой» – это мы так его прозвали. Вообще-то он был Олег Сивочуб. Из друзей школьного призыва он – самый преданный, беззаветно преданный. Когда меня исключали с «волчьим билетом» из школы, на собрании, где клеймили, встал и попросил дать ему меня на поруки. Дали (вздыхнув, наверное, с облегчением: удачно получилось, избавились от геморроя). Позже, когда я женился, был моим свидетелем (это первый брак – с Аллой). Брак был счастливый, не зря он свидетельствовал. А то, что развелись, не его вина. «... То ничья вина».

Каждый год звонил и поздравлял меня с днем рождения. Ни разу не забыл. Все собирались встретиться. Не собрались. Я же давал себе слово, что поздравлю его 4 апреля. Забывал почти всегда.

###

Раньше думал, если начал бы жить заново, все было бы иначе: сколько глупостей не сделал, сколько возможностей не упустил, главное, не совершил бы тех мелких и крупных подлостей и предательств, о которых вспоминать больно. То, что после добровольного ухода из жизни Коли Путиловского *ни разу* не зашел к Бебе Александровне, которая так гордилась дружбой своего непутевого, как она считала, сына со мной – студентом консерватории, затем преподавателем и пр., – это было подлостью с моей стороны по отношению к ней и предательством по отношению к Коле. И свою задницу мог бы поднять раньше, чтобы успеть на похороны самого близкого друга детства; это я предал самого себя. Главное же то, что всё, о чем вспоминаю со стыдом и раскаянием, совершались не по злому умыслу, а по невниманию, житейской суетливости, зашоренности на своих личных мелких и ничтожных заботах и проблемах, о которых нынче и не вспомнить.

Нет, ничего не изменилось бы. Сейчас понимаю, проживи я жизнь снова, всё было бы так, как и при первой попытке.

Да и не даст никто второй.

###

Предосудительная тяга к спиртному обнаружилась рано.

Дядя Шура, папин старший брат, был почитаемым профессором. По его «Теоретической механике» учились студенты большинства технических вузов страны. Среди бывших учеников числились такие тузы советского истеблишмента, как А. Косыгин, В. Толстикова – ленинградский диктатор-наместник, или Б. Бешев – министр путей сообщения. Однако при всем при том, жил он в коммуналке, правда, имел две комнаты. В той же коммуналке жили папины сестры – тетя Ляля с дядей Володей (Владимиром Антоновичем) Панасюком и тетя Маруся с дядей Вовиком (Владимиром Сергеевичем) Драгичевич-Никшиц. У них было по одной комнате. Помимо одной комнаты в огромной квартире (до большевицкого переворота это была квартира знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой), у тети Ляли была одна дочь – Гуля. А у тети Маруси – три: Мура, Лида и Оля. Вот с Лидочкой я дружил, а точнее – бесился. Когда мы шли в гости к дяде Шуре, мама брала с собой две запасных рубашки. Сначала мы с Лидочкой носились, крича и топоча, по коридору отгороженной части коммуналки, где жили дядя Шура с семьей и тетя Ляля, прятались за сундуками, ширмами, всевозможными выступами, в шкафах, под столами и так далее. Затем мама меня окончательно переодевала, и мы сидели за стол. Тетя Мара – жена дяди Шуры – зачитывала поздравительные телеграммы (это – в дни рождения дяди Шуры). Особенно ценились телеграммы от Косыгина. «Дорогой Александр Александрович, сердечно поздравляю» и так далее, десять слов. Но от Косыгина. Нам с Лидочкой Косыгин был по барабану, хотя этого выражения мы тогда не знали. Потом все вкусно кушали, тетя Марочка была феноменальным кулинаром (говорят, все украинки чудно стряпают, не знаю, у всех не потчевался, но тетя Мара была недосыгаема, впрочем, как и во всем, что она делала). Взрослые выпивали мало, рюмку-другую, кто вина, кто водки. И не до конца... Перед сладким все уходило в другую комнату и предавались беседам. Дядя Шура был превосходным рассказчиком, имел отличную память, да и знал много всяких московских новостей, так как часто бывал в столице и общался с сильными мира того. Мы же с Лидочкой оставались в столовой... Поначалу главной фишкой было сделать все незаметно. Партизаны, так сказать. Сделав это незаметно, можно было и воспользоваться результатами труда. Эти результаты веселили, вызывали приливы энергии, активизировали изобретательность и интенсивность игр, короче говоря, слитые в одну рюмку остатки водки и вина из рюмок всех присутствующих, довольно быстро превратились из сопутствующего элемента игры в самоцель.

Пить же в нынешнем смысле начал ближе к старшим классам. Начал и только нынче заканчиваю. И пить, и жить.

###

Согласно Бунину, Л. Толстой говорил: «Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью».

Если бы только в литературе.

###

Когда-то был уверен, что многие номера телефонов не смогу забыть. У нас в квартире телефон был только у Киселевых. Мы им по собственной инициативе никогда не пользовались. Иногда нам стучали в стенку, и мы все на мгновение замирали в нехороших предчувствиях: раз стучат – значит, нам звонят. А звонить Киселевым просто так никто не будет; что такое МГБ или НКВД, я не знал, но родители и друзья, испуганно поглядывая в сторону комнат Киселевых, произносили эти прекрасные загадочные слова. Раз звонят, значит, что-то случилось нехорошее. Увы, как правило, предчувствия оправдывались.

Поэтому я, как и все соседи, ходил звонить в телефонные будки на улице. Наменяешь пятнадцатикопеечных монет (позже – двухкопеечных), и беседуй. С другом или с девушкой. Думал, никогда не забуду номера их телефонов.

Ничего из прошлой жизни не помню. Помню Ж-2-20-32. Это номер телефона у Киселевых. Они раньше всех получили отдельную квартиру, и телефон вынесли в коридор, поставив прямо у нашей комнаты. Вот по этому телефону я и названивал маме с папой, сообщая о том, что приду поздно или вообще не приду. Мама вслушивалась в интонации моего голоса: очень пьян или ещё держусь на ногах.

...Ж-2-20-32...



###

После выхода моей первой книги «Сны» я узнал, что не люблю родину. Так отзывались анонимно в Интернете, так говорили в глаза люди честные и уважаемые. Наиболее емко и точно о книге и ее авторе выразился некий Алексей С.: «Талантливая провокация. Россию презирает – и не скрывает. Умен, эрудирован. Белогвардеец в душе. Но всё личное – о семье, друзьях, профессии – трогает. Лиричен. Такие – самые опасные. Берет за душу и выворачивает – и все против России: против большевиков, против Сталина, против Путина. Особенно неприемлема глава о воссоединении церковью, Сергианстве и пр. Я бы такие книги запрещал».

Белогвардеец – это точно. Не только в душе, то есть скрытно, – явно. Запрещать – желательно бы... Но это было раньше. Сейчас не запрещают. Не замечают. Россию не презираю. Скорблю, что она такая. И люблю, как любят больного ребенка – более, нежели здорового.

Хотя... Что значит – любить Родину? Как можно любить или не любить то, что не знаешь? (Я же не экскаваторщик, который «Пастернака не читал, но...»!). Что любить? Страну? Территорию? – Так я 99,99 % ее никогда и не видел. Ленинград, Москва, ещё 4–5 крупных городов, десяток малых городов, пригороды... Даже говорить о моем родном городе трудно. Конечно, когда выхожу на Неву и вижу Стрелку Васильевского острова, сердце замирает. Нет

такого чуда нигде в мире. Это даже не любовь, а какое-то сумасшествие влюбленности и предчувствие полета. Или Инженерный замок со стороны «Прадеда от правнука». Сейчас там прорыли каналы, что соответствует исторической правде – так было при Павле. Но не при мне. При мне была аллея, мерно покрываемая падающими светло-желтыми, ярко-оранжевыми, бурыми листьями. На скамейках сидели молодые мамы с колясками. Пожилые мужчины в макинтошах и шляпах склонялись над шахматными досками. Студентка «Мухинки» – перед мольбертом. Ия – одинокий, трезвый, влюбленный в этот оазис старого Петербурга. Времена были разные: жутковатые и выжидательные. Но здесь было покойно.

Дом Мурузи – да, родное гнездо, история моей жизни и заодно русской культуры.

Ещё любовь – Лаврушка. Или Петрушка. Сейчас – это Фурштатская. Для меня осталась улицей Петра Лаврова. Это – любовь до гроба.

Все остальное, хотя и знаю, любить не могу. Даже Веселый Поселок и проспект Большевиков, где мы с Ирой выстроили свой кооператив – первую в моей жизни отдельную квартиру – и где были первое время несказанно счастливы. Что же говорить про Ржевку – Пороховые или Охту, Большую или Малую...

То же с населением. Из 143 миллионов, 39 тысяч с хвостиком знаю сотню – другую. Люблю – десяток, может, уже меньше. Многим симпатизирую. Кого-то ненавижу. Всех остальных не знаю и особым желанием узнать не горю.

Что любить, кого, за что?

Что же есть Родина? – Может, тот особый способ восприятия мира, существования в нем, сконцентрированный в ее культуре, языке, системе мышления?.. Если это так, то я люблю Родину. Вернее, даже не люблю, а жить без нее не могу. Подобно воздуху. Не любят, но дышат. Без воздуха умирают. Так и с Родиной. В моем понимании. Но с этой моей Родиной я никогда не расставался. Она всегда со мной. Всегда во мне. Как память о том времени, когда я был счастлив. Как мои мама и папа – всегда во мне и со мной, хотя их давно уже нет. Как дети, внуки... Как мои родные, мои друзья, учителя. Все они – моя Родина, без которой я не существую.

###

Написал и вспомнил Романа Гуля, преамбулу к его мемуарной трилогии «Я унес Россию». «Какой-то якобинец (кажется, Дантон) <...> сказал о французских эмигрантах: “Родину нельзя унести на подошвах сапог”. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет. Многие французские эмигранты <...>, у кого была память сердца и души, сумели унести с собой Францию. И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца».

Лучше не скажешь. Так что не буду ломиться в открытую дверь.

###

Впрочем, то, что уносишь в «памяти души и сердца», это не вся Родина. Огромная, но – часть её.

###

Я болею. Рядом с кроватью сидит мой дядя и читает мне вслух. Я слушаю невнимательно, потому что история меня не захватывает. Рядом с дядей сидит тетя и внимательно следит за тем, что и как дядя читает, и за мной, чтобы я не раскрывался. Я для них – смысл жизни, но

и я их обожаю, для меня каждый их приход – праздник. Вчера дядя читал мне Пушкина и позавчера тоже. Мне было интересно. Особенно про тридцать рыцарей прекрасных. А сегодня его понесло на «Педагогическую поэму» Макаренко Антона Семеновича!

...Многих слов я не знаю и не расстраиваюсь: понимаю, что мне всего шесть лет, и не могу ещё всё знать, но постепенно буду взрослеть и всё на свете пойму. Вот и сейчас я лежу и подрёмываю. Мне уютно, тепло и спокойно. Буржуйка, приделанная к старинному мраморному камину, таинственно розовеет швами в полумраке нашей большой комнаты, эти розовые сполохи загадочными змейками отражаются в кокетливом изгибе черного рояля, занимающего треть комнаты, над кроватью полной зимней луной матово зеленеет холодная навесная лампа, накрытая какой-то тряпицей, чтобы свет не бил мне в глаза. Я почему-то не могу уловить смысла рассказа, слова толкаются, как пассажиры у кондуктора на задней площадке трамвая, и фразы строятся наперекосяк, половину я не понимаю, да и не стараюсь понять, потому что подрёмываю. Хорошее слово – «подрёмываю». Мне приятно слушать дядин голос, ощущать на себе полные ласки взгляды. Хорошо, когда тебя любят. И не потому, что всё прощают – а дядя с тетей мне прощают всё, это – не родители, которые меня тоже любят, но иногда робко наказывают. Просто очень даже прекрасно, когда тебя любят. Дядин голос журчит, убаюкивая. Вдруг он резко останавливается, как будто спотыкается, и смущенно замолкает. Какая-то авария! Тётя неожиданно зло шипит на дядю: «Ты смотри, что читаешь?!» Я быстренько просыпаюсь, – как не встрепенуться, коль скоро такое смущение и переполох происходят у взрослых, и до меня задним числом доходит последняя прочитанная до аварии фраза: «А ты знаешь, что она – проститутка?». Это один герой спрашивает у другого, речь идет о некоей девушке. Слово незнакомое, я бы его пропустил вместе с другими. Но тут такое дело... Дрема растаивает. «А что это такое – проститутка?» – задаю естественный вопрос. «Ну, вот», – констатирует тетя. Дядя начинает быстро читать дальше, явно перескакивая с одного куска на другой. Но меня уже не остановить. Во мне просыпается ученый – лингвист, и я дятлом долбаю несчастных родственников: «Нет, дальше не надо. Я не понимаю, что такое проститутка!» С кухни вызывается мама, ей объясняется ситуация, но без произнесения волшебного слова вслух. Тётя якобы незаметно тычет указательным пальцем в это слово в тексте. Мама сообщает быстро и неестественно естественным голосом говорит: «Подумаешь, это – торговка, ну, которая торгует всякой ерундой». Я, конечно, тоже не лыком шит и делаю вид, что удовлетворен ответом, но сам про себя многократно повторяю это слово, чтобы не забыть. Мне нравится само его звучание, но ещё более манит тот чудный смысл, который сокрыт в этом волшебном слове – «проститутка». Я знаю, что у нас есть толстенный черный «Словарь русского языка» Ушакова, и ещё какой-то Ожегов, я скоро поправлюсь, мне разрешат вставить, и этот умный Ушаков разъяснит, что происходит с этим «проституткой». Читаю я по слогам, но «работать» со словарем уже научился.

...Ушаков с Ожеговым разъяснили. Оказалось, что мама была права, и это – женщина, которая торгует своим телом. В мире капитала и до революции. Правда, я не знал, что тело = ерунда. Ничего себе: «всякая ерунда». Целое тело, с руками, ногами и головой вместе, – это не ерунда. Но как им можно торговать, я понял не сразу. Руками отдельно или ногами – понятно, больно, но понятно. Но туловищем? Да ещё многократно!..

Потом я пошел в школу, там, на первой большой перемене мне разъяснили сущность бытия и, главное, терминологию. В этот же день поделился полученной информацией с мамой и четко произнес новые слова, но она, кажется, не очень обрадовалась. Я довольно долго переваривал полученные сведения. Всё представлял себе, как же это происходит в жизни – не складывалось как-то в уме. А на практике, где попробуешь? Но всему свое время. Лет через десять всё сложилось, и я, наконец-то, попробовав претворить теоретические знания в быту, понял, что был прав: необъятное море чарующих ощущений таило в себе это такое богатое слово и все его подтексты. Бездна невероятно приятных действий тела, души и, особенно, ума, и их

последствия скрывались за сугубо, казалось бы, техническим определением. Правда, с самими представительницами этого цеха я никогда, к сожалению, не имел дела. Как-то всё на халяву проходило или по любви, что тоже, в сущности, халява.

Во всяком случае, любил я это дело.

До сих пор вспоминаю.

Не скажу, что я не познал бы радости любви и основы бытия, если бы дядя не споткнулся на слове «проститутка», а споткнувшись, не смутился бы, а тётя не возмутилась: «Смотри, что читаешь!» Познал бы и, боюсь, не позже и не раньше, а вовремя. Но то, что, благодаря эпопее товарища Макаренко Антона Семеновича, я научился решать поставленные жизнью задачи – бесспорно. Так же, как и бесспорно, что с шести лет я понял важность и прелесть такого понятия, как «проституция». Не только и не столько в области любовного бизнеса. Без нее, видимо, не обойтись «во всех днях нашей жизни».

Розовые змейки в изгибах рояля. Одноглазая физиономия в дальнем углу потолка, появляющаяся в полумраке, пугавшая меня, когда я был совсем маленьким, но с которой я к шести годам сдружился (пылесосов не было, а шваброй мама не могла дотянуться – дом Мурузи!). Голоса моих родных. Мамины руки, меняющие влажную тряпочку на лбу. Папа в углу, готовится к завтрашней лекции. Покой. Уют. Тишина. Мерные, глухие, едва проникающие сквозь промерзшие стекла окон удары колокола Спасо-Преображенского собора. Девять ударов. Значит, скоро спать.

Всё это ушло и никогда не вернется. Даже интригующая история Макаренко Антона Семеновича. Однако эта ушедшая жизнь видится все отчетливее, проступает каждая деталь. И эти детали, эти блики, тени есть реальность более актуальная, нежели круговерть нынешнего бытия.

Конец 1949-го – начало 1950-го года. Страшное время.

###

Французский мыслитель Жан де Лабрюйер наставлял своего воспитанника герцога Бурбонскош: «У подданных тирана нет родины».

А если тиранчик ещё и убог?..

###

«Мы жили тогда на планете другой...». Часто думаю, сколько же планет было в жизни моих родителей. Моего папы. В детстве он жил на планете Царское Село. Папа про эту планету никогда не рассказывал. Знал, с кем имел дело: с большевиками лучше не шутить. Не рассказывал, помалкивал, хотя никогда не скрывал своего дворянского происхождения – указывал во всех анкетах, даже во времена кровавых чисток. Но дядя Шура, который был на три года старше папы, всё хорошо помнил и любил поделиться воспоминаниями. Думаю, папа так же, как и дядя Шура, встречался с Великими Княжнами или играл с Наследником, катался с ними – Цесаревичем Алексеем и его дядькой, матросом Деревенько – на санках с Большого Каприза Екатерининского парка. Может быть, и моего папу Алексей приглашал во Дворец вместе с дядей Шурой – своим «адъютантом». Возможно, как и дядя Шура, он ехал в одном купе с Распутиным (дядю поразил тяжелый взгляд старца), возможно и его выспрашивала Вырубова о Царевнах... Дедушка – мой полный тезка – Александр Павлович Яблонский, был секретарем Комитета «Дома призрения инвалидов и увечных воинов», во главе которого стояла Императрица Александра Федоровна. Должность эта была без оклада жалования, то есть волонтерская (помимо этой «общественной» обязанности дед, главным образом, служил в Адмиралтействе). Однако бесплатная казенная квартира в Царском, как секретарю «Комитета призрения», ему

полагалась. Так что его дети – мой папа, в том числе, – не могли не общаться с детьми Николая Второго и Александры Федоровны.

Заканчивал свою жизнь папа в комнате большой коммунальной квартиры (№ 49) в доме Мурузи. Долгое время они с мамой ходили в баню на Некрасова (Бассейную). После второго инфаркта он позволить себе такую роскошь уже не мог. Мама поливала его из чайника. Он раздевался, садился на корточки над тазом, а мама поливала. В квартире, естественно, ванной комнаты не было. Была одна раковина, в которой мыли голову, посуду, руки, ноги, овощи-фрукты. Правда, потом – в конце 60-х – поставили ещё одну раковину и дали горячую воду.

###

Ещё были две войны – финская и Великая Отечественная. На Отечественную папа, к счастью, опоздал. Утром 22 июня 41 года они с мамой сошли с поезда в Симферополе и сели в автобус на Алупку. Удивило обилие военных. До Алупки еле доехали. Укачало. На автовокзале услышали речь Молотова. Папа кинулся к коменданту и был сразу отправлен в Ленинград. Мама долго и мучительно возвращалась одна. Папа же по прибытии 25-го в Ленинград явился в военкомат, где узнал, что его часть накануне отправлена на фронт. Он был откомандирован в другую часть. Через некоторое время стало известно, что тот самый его «родной» полк, куда он опоздал, был полностью уничтожен немцами. Никто не спасся.

Папа воевал на передовой и добросовестно, как и все, что делал в жизни. Первым в полку получил орден Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Демобилизовался только в 1946 году.

###

Многое в жизни интересно. Например: когда уйдет со своего поста М. Саакашвили (а он – человек западной цивилизации – уйдет), грузинское вино моментально перестанет быть отравленным пойлом или Онищенко подождет пару дней для приличия?

###

Повторяю, папа был человеком мужественным и на войне, и в немирной мирной жизни. Никогда, насколько знаю, ничего не скрывал, не боялся нести ответственность за свои поступки, мысли, происхождение. Однако представить молодую жену – мою маму – своей маме (бабушке Оле) решил заочно. Прислал маму с запиской: «Познакомьтесь. Это Маша – моя жена».

Кого только не было в семье Яблонских: православных, причем многие были воцерковлены, протестантов, католиков, намешано в русской крови австрийских, финских, сербских примесей, были француженки, итальянки и т. д., но вот иудейки не было. Причем атеистки и комсомолки!

Мама с бабушкой стали самыми близкими друзьями, умерла баба Оля на маминых руках у нас на Литейном.

###

Мой внук и, по совместительству, мое счастье – Аарон, по средам ходил на йогу. Ходил с удовольствием. Однако в последний раз, может, от жары, может, от усталости – они только что вернулись из Нью-Йорка – разрыдался. Сидит на полу около входа в зал, горько плачет,

сквозь всхлипывания: «У ме-еня есть ид-дея!» – «Какая идея?» – «Уйд-дем отсюда. Пошли дом-мо-о-ой».

Идейный растет мальчик. У меня в три года идей не было (и сейчас кот заплакал). Правда, в 1946 году я на йогу не ходил, так как этого чуда в СССР не существовало, что и объясняет нынешнюю ситуацию с идеями.

###

Страшно ли умирать? – Пока что, нет, не страшно. Обидно!

###

Заметил: многие молодые люди 60-х – 70-х – 80-х годов, те, которых называли «продвинутыми», то есть современные, модные, мыслящие люди, часто – популярные актеры, – выделялись из общей массы. На них был неуловимый западный шарм. Они одевались чуть иначе, хотя далеко не всегда в дорогие импортные шмотки, и выглядели свободными европейскими людьми. Это чувствовалось в походке, жестикуляции, манере говорить, выражении лиц, высказываниях....

В эмиграции – с точностью до наоборот. Те же люди, постаревшие, что естественно, но абсолютно те же через 30–40 лет, своей походкой, своим поведением, мышлением, жестикуляцией, выражением лиц, кожаными пухлыми куртками, кроткими взглядами на полицейского, растерянностью при обращении американца – всем выпадают из толпы. Видно издалека: «Эти – из Советского Союза». Не ошибешься.

Есть исключения. Например, М. Барышников.

«Поезд идет на восток»

Мне очень нравился этот фильм. Во-первых, потому, что он был длинный. Обычно фильмы заканчивались раньше, чем хотелось. Только рассмотришься, как тут и конец. А этот идет и идет. Два человека едут и едут, никак не доедут. Во-вторых, мне очень нравился поезд. Я тогда никогда в поездах дальнего следования не ездил. Но мечтал. Вот едем мы в таком прекрасном вагоне, полированное дерево блестит, чистые салфеточки на столе, зеркала, тихая музыка, перестукиваются колеса на стыках рельс, проводник открывает дверь в нашу маленькую комнатку и приносит чай. А за окном проносятся деревья, поля и всякие прекрасные города и села. Я лежу на верхней полке и смотрю, а мама с папой сидят внизу, кушают крутые яйца и читают книги.

Путь далек
На Дальний Восток...

Поэтому я обрадовался, когда услышал, что, возможно, поедем на Дальний Восток. Дядя Шура сидел на диване и шепотом говорил, а мама с папой почему-то выглядели расстроенными. Я, естественно, прислушивался, но понимал не все. Дядя Шура работал профессором в Институте инженеров железнодорожного транспорта – ЛИИЖТе – и знал о поездах все, что можно. «Завкафедрой... сказал, что они рассчитали количество теплушек... подвижной состав уже готов... сначала вывезут чистокровных... потом – тех, кто женат или замужем за русскими, затем... Павлик, я ничем не смогу помочь... Со дня на день...»

Я учился в третьем классе, и менять школу не хотелось, хотя 182-я школа, что напротив нашего дома, мне не нравилась.

Только учительница Ида Борисовна Зельдина была очень хорошая и строгая, а все остальные – злые и неопрятные. И пахло потом и мокрой шваброй.

А тут ехать далеко в светлом вагоне – это здорово!

Пусть летит над океаном
Песня друзей,
Поезд идет все быстрее!

Одно было не ясно: как мы потащим рояль? Возможно, именно поэтому мама с папой сидели такие грустные и испуганно жались к дяде Шуре.

###

В нормальных странах при повышении биржевых цен на нефть через несколько дней дорожает бензин. Падает рынок – соответственно, дешевеет горючее. Естественно. Иногда – наоборот. В Венесуэле, к примеру. Дорожает нефть, бензин – по цене газированной воды. Такова политика Чавеса: если есть деньги, надо ублажать избирателя, тем более, что у него избиратель – голодранец. Но и эта политика понятна: пока можно, удержаться на троне.

Россию колебания цен не волнуют. Повышается биржевая цена, дорожает бензин. Законно. Падает цена, бензин – что? – опять дорожает! И опять-таки законно! «В связи с падением цен на нефть наши нефтяные компании должны компенсировать потери... на внутреннем рынке», – без тени смущения вещает какой-то гарант.

А вы говорите, страна здоровая...

Белочка

«Белочка, пойми же ты меня, / Белочка, не мучь меня...» Я обожал эту песню «про белочку» и постоянно просил: «Поставьте ещё “Белочку”».

Радищева, 42-а. Третий этаж. Коммуналка, но чистая. Направо – «наша» комната. Большая, уютная, с балконом. С балкона были видны окна дома напротив. Там была казарма, и я с восторгом наблюдал, как офицеры (или курсанты) в сапогах, галифе с подтяжками и белых рубашках брились в туалетной комнате перед зеркалами. Настоящие офицеры в галифе! Мечта моего детства.

С левой стороны коридора – комната Ольги Александровны, женщины одинокой, подтянутой, интеллигентной. Подозреваю, что она дяде нравилась (о других взаимоотношениях полов я тогда не догадывался). И он ей. У нее был строгий вид и много книг. Она часто давала читать то, чего не было в библиотеках. В 50-х – Ремарка или Олдриджа. Около ее комнаты – телефон. Пользуйся, кто хочет. Далее направо – Василий Герасимович и его жена. Их никогда не было видно. Походили на раскулаченных. Бесспорно, они жили вне советской власти. Верующие. Тяжеловесные, молчаливые, угрюмые. Около ванной жила Таня – парикмахерша. Она была приветлива и суетлива. У нее кто-то из наших стригся.

Меня отводили на Радищева по субботам и купали в ванной. Я там ночевал, а мама бежала домой к папе. Я тогда не представлял, что они были молоды!..

В ванной была круглая печь. Ее топили дровами. Потом набирали воду. Затем я погружался. Это был праздник. Лежал в воде, нырял, играл с надувной игрушкой и наслаждался. Нарезвившись, я давал маме себя намылить, смыть, опять намылить начисто. В финале я нырял под пену, обливался, и праздник Нептуна заканчивался. Закутанного в полотенце, мама несла меня в «нашу» комнату. На стенах темные ковры, четыре литографии, я обожал их рассматривать. Три из них сейчас со мной в Америке.

Нигде и никогда я так не бесился, как на Радищева. Нигде не наслаждался такой волей и свободой. И нигде не ощущал столь безграничного обожания.

Дядя и тетя, которые так удачно обратили мое внимание на непонятное слово и, тем самым, способствовали развитию исследовательских навыков, были люди необыкновенные. Дядя Исаак был великолепным врачом, одним из лучших в городе кожников. Он единственный действительно помогал при псориазе и экземах. Естественно, получил по самое *не могу* во время «дела врачей». Слава Богу, не замели. Помню, как он сжигал уникальные рецепты собственных мазей, которые он создавал на протяжении своей жизни и которые были им успешно апробированы. При аресте могли бы послужить уликой работы на Джойнт или ЦРУ. Помню цвет его лица, когда он вернулся с собрания во Втором Мединституте, где его выперли с работы, где кричали и бесновались те, которые совсем недавно до этого славословили его же во время защиты диссертации. Он пережил и это, как пережил войну, и многое другое. Но продолжал лечить и вылечивать до самой своей смерти. Правда, умер, не дожив до 60-ти.

Однако главной его заботой и работой, как и тети Дины, было любить меня. И «Белочка» связана именно с этим чудом, озарившим мою жизнь.

Значительно позже я понял, что «Белочка» совсем даже не белочка – пушистый зверек, а «Бэллочка». Тогда же выяснилось, почему эта песенка так связана именно и только с комнатой в 42 кв. метра на Радищева. В другом месте звучать она не могла, ибо все то, что пел Петр Лещенко, было запрещено. Ещё позже я узнал, что этот кумир довоенной Европы в 51-м был арестован (прямо на концерте) румынским ГБ (читай, советским НКВД-МГБ-МВД) и в 54-м умер в тюремной больнице Тыргу-Окна. (В скобках: Лещенко «кололи» по делу его молодой жены Веры Белоусовой, обвиняемой в измене Родине, Белоусову же арестовали в СССР, в

Одессе, приговорили к расстрелу, но изменили меру и посадили на 25 лет за то, что она состояла в браке с иностранцем – П. Лещенко, что приравнялось к измене Родины. Уроды!).

«Помнишь, звуки *трэли*, слушали и млели»... Лещенко произносил «трэли» вместо «трели». И я млел. Детство. Счастье. Радищева.

Через много лет вдруг подумал: разве можно так остро ненавидеть всю эту нечисть в Кремле, на Лубянке и в прочих клоповниках. И Он ответил: можно, Саня, можно, как же иначе.

###

Рабби Иехуда ха-Наси (Иуда-Князь) в конце второго века н. э. сказал: «Все беды на свете от неученых». От воинствующей безграмотности и невежества. Отсюда и злоба. Пещерная, всеобъемлющая, беспощадная.

###

В 2008 году вышла моя первая книга «06/07. СНБ». Хорошая книга. Толстая (654 страницы!) и тяжелая. Мечта домохозяйек. Я люблю эту книгу, пожалуй, более всех других, опубликованных, и тех, которые «в столе». Во-первых, потому, что там есть моя фотография, а на ней я со Шнуриком. Шнурика уже нет. Он умер. Когда мы были в Вене. С тех пор я никуда ни разу не выезжал и не хочу выезжать. Слишком тяжело вспоминать тот август 2008 года.

Шнурик – это такса. Мой верный, мудрый друг. Бог одарил меня чудными дочками. А сына не было. Шнурик был вместо сына. Когда на второй день нашей долгожданной поездки позвонили из Бостона – звонила Маша, ей всегда выпадает самое трудное в наше отсутствие – и сказали, что у моего мальчика всё поражено метастазами, он не может есть, его нельзя мучить, (он, действительно, страдал, мы просто не знали, в чем дело, думали по возвращении делать MRI), и его необходимо усыпить, мы, конечно, дали согласие. В тот же день его не стало. Что было потом, – как во сне. Сутки просто выпали. Не знаю, что это было: лежал на кровати, не спал, но ничего не помню. Потом пытались срочно вернуться домой. Зачем? Ему мы помочь уже не могли. Вернуться не получилось. Отпущенное время ходили, как слепые, по Вене, потом по Праге, затем по Амстердаму. Ира плакала, а я не мог.

Во-вторых...

###

Аарон в день своего трехлетия: «Вот придем домой, а там дедулик сидит!». Точно! Сидит. С подарками.

###

В девятом классе поспорил с друзьями – одноклассниками, тоже не очень уже трезвыми, что выпью пол-литра водки на одном дыхании, не закусывая. Спор выиграл. Выпил. Мама потом всю ночь тазики выносила.

###

Мама выносила тазики не только в ту ночь. И не только тазики. Вынесла даже эмиграцию. («Я за сыночком, как ниточка за иглолкой».) Не сомневаюсь, она бы все вынесла ради меня.

Как и папа. Правда, папа до эмиграции не дожил. Но при его жизни я бы и не эмигрировал. Его бы это убило.

###

«Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается..»

...Лаврушка в конце мая. Может, начале июня. Стою недалеко от Чернышевского лицом к Литейному. Солнце над дальним домом слепит глаза. Вася К. – одноклассник – подробно рассказывает о своих подвигах на ринге: «Он – хук слева в челюсть, а я ушел. И апперкот ему по печени...». Эта история идет уже по третьему кругу. Знаю ее наизусть. Сейчас будет: «А я ему под руку кросс». Точно: «А я ему под руку...». Но терпеливо слушаю. Не потому, что воспитан. А потому, что стою на Лаврушке.

Солнце садится за дальний дом на Литейном. Кажется, что это расплзающийся желток шипит на раскаленной добела сковороде, разбрызгивая огненные искры. Мерцающее оранжевое с лиловыми переливами марево, которое бывает только в начале жаркого лета, легким флером прикрывает его воспаленное сияние. Сейчас солнце, с досады багровея, сядет за крышу дома, и Лаврушка покроется сиреновой дымкой, оттеняемой веселой зеленью молодой листвы. Жара робко уступает свои права освежающей прохладе. С Ладоги потянуло ветерком и запахом свежих огурцов – время корюшки.

Васю уже не слушаю, хотя он с воодушевлением повторяет свою захватывающую историю. Судя по его рассказам, он одерживает на ринге сплошные победы. Почему о нем не пишут в газетах? У Васи нет зуба, поэтому он шепелявит. Но это придает повествованию особую прелесть.

Заслуженная гордость учителей за свою прославленную школу № 203 им. Грибоедова не давала им возможности ставить Васе оценки по заслугам. Поэтому он учился на одни тройки. После школы он поступил в какое-то захолустное училище КГБ. В классе был ещё один, как впоследствии оказалось, потенциальный особи́ст. Но тот и учился хорошо, и в Военмех поступил, и ГБшную школы прошел по высшему разряду. Дослужился до полковника. Воевал на невидимом фронте то ли в Сирии, то ли в Ливане, а возможно, совсем в другом месте: ещё в школьные годы отличался буйной фантазией и преувеличенной оценкой собственной роли в мировой истории. Спецподготовка, естественно, направила эти природные таланты в нужное русло. Так что понять, где Валера служил, было невозможно. Да и не нужно. Это никого не интересовало, хотя при редких встречах, если их не удавалось избежать, Валера пытался в красках описать свою нелегкую службу, а заодно узнать, чем мы дышим... А вот Вася ничего не пытался узнать и тянул ляжку на просторах Родины, а точнее, в ее самой крайней, но важной точке – на пропускном пункте Чопе. Там, где выпускали или не выпускали за бугор. И шмонали. Помню, он приезжал в отпуск, и мы пили у Коли. Вася быстро напивался до светлого изумления и начинал искать свой пистолет. Но никогда не находил, потому что табельное оружие лежало в сумочке его жены. Васина супруга сидела в уголке, совершенно трезвая, всегда с испуганным лицом и прижимала к груди «ридикюль» с Васиным вооружением. Вообще-то Вася был неплохим и незлобным парнем. Поэтому до майора, по-моему, не дотянул.

А Лаврушка жила своей жизнью. Вася, утомившись шепелявить, уходил по своим делам. А я продолжал фланировать, ожидая встречу... На Лаврушке жила девочка из старшего класса, в которую я был влюблен. Она на меня, естественно, внимания не обращала. Но разве в этом дело! Потом мне нравилась девочка из младшего класса. Она тоже жила на Лаврушке и тоже не обращала. На Лаврушке жили другие девочки, которые мне не сильно нравились, но они были девочки. Все они проходили или могли пройти мимо меня, пока я слушал Васю. И мое сердце трепетало от предвкушения... Я не знал и сейчас не знаю, чего я ждал (и жду в назойливо повторяющихся снах), что могло случиться, но не сомневался: случится нечто необыч-

ное, неповторимое, замечательное. И случилось! Появлялись мои дружки, а с их появлением и начиналось то, ради чего стоило жить, то, что, как казалось, никогда не закончится, а будет продолжаться бесконечно, делая жизнь радостнее и праздничнее. Они – мои дружки так же думали и чувствовали. И мы были счастливы.

Сейчас Лаврушка уже не Лаврушка. Всё чужое. Американское консульство с очередью на два квартала. На этом месте был дом, в котором жили мои родственники и девочки из нашего класса. Родственники уехали ещё в 50-х, и мой троюродный брат стал генералом израильской армии. Где девочки, не знаю. Знакомая чужая улица. Ядовитые вывески коммерческих киосков и магазинчиков на фасадах старинных особняков. Пыльно. И никого не осталось. Коля повесился. Севка умер при странных обстоятельствах. Умер в начале 90-х Гулька – Игорь Беседкин. Когда я писал «Сны», Гарик был жив, и я пожелал ему здоровья. Оказалось, что именно в это время его не стало. Ушли Петя Меркурьев, Вова Алексеев. Земля им пухом.

А я живу и во сне вижу ту старую Лаврушку.

«...Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет».

###

С Гариком – не успел. Со многими другими, слава Богу, – успел! Это и есть «во-вторых».

Книга «Сны» – тяжеловесная, рыхлая, многословная, с повторами и прочими огрехами, вызванными торопливостью. Плюс – потребность ломиться в открытые двери. Особенно в тех главах, где речь идет об особенностях российского менталитета, истории страны, ее настоящем и прогнозируемом будущем. И все же я люблю эту книгу. «Во-первых» – уже сказал. Во-вторых, потому что успел. Успел сказать о своей любви и благодарности моим замечательным учителям. Эти слова узнала Тамара Лазаревна Фидлер – выдающийся педагог и музыкант (о ней – блистательная статья А. Избицера – «Семь искусств», 2010, № 1), она скончалась в Канаде. Владимир Борисович Фейертаг послал отрывок, посвященный Ирэне Родионовне Радиной – этому моему чудному педагогу, в Израиль. Ныне нет и Ирэны Родионовны. А с Натальей Григорьевной Кабановой, я *нашелся*. Она была учителем-подвижником. Не знаю, кто бы ещё за год с лишним мог не только научить, но и приобщить к теоретическим наукам, влюбить в них. Никогда не прошу, что столько лет, будучи в России, не удосуживался ее найти. В последний раз мы тесно общались, когда она была директором Дома-музея Чайковского в Клину, а я там несколько летних месяцев работал (1965 г.). Потом она обосновалась в Москве... Я ее не забыл, но и не искал. А она, оказывается, помнила меня, гордилась мной и считала лучшим, во всяком случае, самым необычным своим учеником (ещё бы, при моей «истории»). Я это узнал слишком поздно. Это было радостное общение для меня и, бесспорно, для нее. «Сашенька, как я рада тебя слышать!» – это ее первые слова во время моего звонка из Бостона. Потом звонил ей через день. Продолжалось это недолго. Земля пухом этим уникальным людям.

«Дорогой Сашенька! Скотина ты последняя! Ты лишил меня сна на целых две ночи – читал твою книгу! Я уж не говорю о том, что она совершенно гениально написана (дай Бог нашим классикам так писать!), я ревел, хохотал, вытирал сопли и слёзы!!!» Это от Пети Меркурьева. Восторженного, открытого, талантливого. И его я потерял после школы, он уехал в Москву. Оба рухнули в непростую взрослую жизнь и... не забыли друг друга, а именно *потерялись*. И вот на старости такое счастье общения. И дело не только и не столько в этих и многих других приятных словах, искренних, но, бесспорно, преувеличенно восторженных. Счастье вновь почувствовать то юношеское ощущение родства душ, которое в зрелости уже не возникает. Ушел Петя в одночасье. После обретения потеря ещё больше. Но успел!

###

Август 2008-го был жутким не только и, конечно, не столько из-за нашей грустной поездки. В августе 2008-го произошла вторая русско-грузинская война.

«В городском саду...»

Мы с мамой часто ходили гулять в Летний сад. Под вечер там играл военный духовой оркестр. Мне было лет пять-шесть. Ни я, ни мама и представить не могли, что через много лет, по окончании Консерватории я буду «призван в ряды», и окажусь в таком же духовом оркестре. Мой оркестр – Образцово-Показательный оркестр Штаба ЛенВО – играл не в Летнем саду, а на Невском – в саду Аничкова дворца. Тогда же – в конце 40-х – я с восторгом смотрел на деревянную летнюю сцену, на этих красивых военных со слепящими пуговицами, блестящими бляхами и в зеркально отдраенных яловых сапогах. Оркестр играл чудную музыку. В публике – мамы, бабушки с детворой и очаровательные женщины в светлых цветастых крепдешинových или креп-жоржетовых платьях с поднятыми плечиками и маленьких, чудом державшихся на голове шляпках, с ярко покрашенными губами, на высоких каблукках. В публике мужчин почти не было. Их тогда вообще мало осталось. В Летнем саду все мужчины – на сцене. Старинные вальсы: «На сопках Манчжурии», «Осенний сон», «Грезы», «Дунайские волны»... Музыка моего детства. Было нечто пленительное в ее звуках. Я тогда ничего не понимал, ничего не знал, знать не мог, но чувствовал, кожей осязал эти звуки, как отголоски призрачно-чудного, навсегда ушедшего мира.

Антракт. Бравые сверхсрочники, уложив на складных стульчиках блестящие инструменты, окружены женщинами. Болтают, смеются. Странно: было голодно, тревожно и мрачно, но, помню, после войны много смеялись. Дирижер – в стороне с женой и маленькой дочкой. Мама начинает тянуть домой: «Скоро папа с работы вернется!». Это для меня тоже праздник. Но и с этим не расстаться.

Второе отделение. Мама сдается.

... «Мне бесконечно жаль», «Брызги шампанского», «Давай пожмем друг другу руки», «Рио-Рита». «Вдыхая розы аромат»... – я знал эти мелодии наизусть. Потом шли песни военных лет. И начинали щелкать замочки изящных сумочек, мелькать кружевные платочки: многие женщины плакали. Только что смеялись, а сейчас плачут – удивительно!... Мама тоже отвернулась, роется в сумочке. После «Огонька» мы уходили. Папа ждал дома, да и в конце концерта обычно шли бравурные марши и всякие «Варшавянки». Уходили, мама молчала, и мне было тоскливо.

На следующий день опять тащил маму в Летний сад. На оркестр. Да она и сама хотела, я видел.

###

Это и есть моя Родина. Много бы отдал, чтобы туда вернуться.

###

Простейшие раковые клетки вытесняют и уничтожают более высокоорганизованные организмы. Медицина пока бессильна нейтрализовать агрессию примитива. Это – всеобщий закон, увы. Однако, как и на солнце вспышки активности перемежаются длительными периодами затишья и стабильного покоя, так в обществе – в его светской жизни, и в духовной – воинствующая безграмотность и невежество, долго оставаясь в тени, вдруг яростно возбуждаются и, захватывая жизненное пространство, вытесняют все живое, разумное, достойное.

Ныне, видимо, в России время «активного солнца».

###

Что мне не нравится в Америке и, вообще, на Западе, так это, как пьют. Дело не в том, мало или много. Это как организм выдерживает. Иногда попадаются такие дарования, что даже Николаю не снилось.

Про Николая нечего рассказывать. Только то, что он жил в маленьком срубе около большого дома в Репино, где мы снимали дачу у Марии Фирсовны и Феликса Тимофеевича в конце 40-х – начале 50-х. Жил с женой Тосей – крошечной, худенькой, тихой женщиной, очень услужливой и работающей. Коля всю неделю вкалывал чернорабочим. У него было кирпичное от загара лицо, молочный лоб. И огромные бицепсы. Я таких больше не видел. В выходной он пил. Мария Фирсовна говорила, что литр он «засаживает на раз». Засадив на раз свой литр, он начинал смертным боем бить Тосю. Из срубика раздавались истошные вопли, что-то гремело, падало. Интеллигентные дачники подходили и растерянно вслушивались в нюансы побоища. Один раз (дело было зимой, мы снимали комнату на зимних школьных каникулах) кто-то не выдержал и сбегал на станцию. Пришли милиционеры, постучали. Было очень холодно, прозрачно. Огромные звезды спустились ниже, чтобы посмотреть представление. Из избытки вывалился Николай в разодранной майке. Босой на снегу. Глаза у Николая были оловянные, которые никак не могли собраться в кучку. Он недоуменно смотрел на милиционеров, припоминая, видимо, что где-то их видел. За ним на снег вылетела Тося с синей половиной разбитого лица и заплывшим глазом. Непривычно визгливым голосом она заверещала, что это их семейные дела, что никто не смеет вмешиваться, и вообще, пошли все... Милиционеры смущенно потоптались, извинились и ушли. А Тося поволокла за руку обезумевшего от литра Николая в дом, где он продолжил колошматить свою законную супругу. Вот такая любовь. Говорили, что милицию вызывали уже неоднократно, но верная Тося каждый раз гнала их подальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.